
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕСТВОВАНИЯ В «СТАЛИНСКИХ» ГЛАВАХ РОМАНА А. СОЛЖЕНИЦЫНА «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

И.Б. Ничипоров

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Воробьевы горы, ГСП-1, Москва, Россия, 119991

В статье рассмотрены приемы художественного изображения Сталина в романе Александра Солженицына «В круге первом» (1955—1968; главы 19—23). В работе исследуются различные варианты соотношения авторской речи с голосами вождя и иных персонажей. С опорой на внутренние монологи центрального героя, его несобственно-прямую речь, авторские комментарии анализируется сталинское восприятие собственной личности и исторического процесса, уясняется место «сталинских» глав в общей художественной структуре произведения. «Сталинские» главы заключают средоточие историософской проблематики романа, вокруг которой развернутся споры его персонажей. Здесь достигается полифония различных повествовательных форм: динамичная драматургия эпизода, острого, стихийно развивающегося, имеющего мощный подтекстный фон диалога сочетается с опоясывающей эти главы ситуацией «один на сцене», в полноте передающей парадоксы как внутренней жизни вождя, так и исторического времени.

Ключевые слова: композиция художественного произведения, Солженицын, Сталин, полифония, художественная концепция истории

В художественной структуре романа А. Солженицына «В круге первом» (1955—1968) пяти «сталинским» главам (19—23) принадлежит исключительно значимое место. Историософское осмысление фигуры вождя и феномена вождизма сопряжены с ключевой для всего произведения проблемой соотношения личности и Системы. Парадоксальным образом сам вождь ассоциируется у Солженицына с арестантом и заложником порожденной им Системы [1. С. 61]. Течение земной истории таинственно сопрягается в романе с онтологической реальностью, а разнообразием повествовательных форм передается атмосфера напряженного полилога между авторским Я и сознанием персонажей.

19-я глава представляет развернутую экспозицию «сталинского» раздела романа, где «оттачиваются» важнейшие приемы исторического портретирования. В исходном объективном авторском повествовании посредством бытовой детализации запечатлен герметизм окружающей вождя обстановки, отъединенной от внешнего мира. Предметная сфера приобретает символическое значение — в духе характерного для Солженицына «сочетания документальной точности в воссоздании подлинной жизненной реальности с глубоким метафизическим ее осмыслением» [2. С. 41]. В интерьере замкнутого, всецело подчиненного человеческой воле пространства прорисовывается — путем рельефно выраженного «остраннения» — то, как «на оттоманке лежал человек, чье изображение столько раз было изваяно... как ничье никогда за три миллиарда лет существования земной коры» (1). В авторском дегероизирующем описании природная немощь вождя контрастно «накладывается» на усвоенную им себе всемирно-историческую, де-

миургическую роль, что уже в завершении главы фокусируется в характеристике озабоченных «желтых нездоровых глаз Всесильного»: «Имя этого человека склоняли газеты земного шара... а он просто лежал... а он был просто маленький желтоглазый старик... чувствовал себя сегодня неважно». Бытовой изобразительный ряд размыкается в мировую бесконечность («Глухонемая тишина налила дом, и двор, и весь мир»), обнаруживая в вождистском мышлении вызов в отношении как человеческой истории, так и бытийных законов: «Не стоило большого труда исключить себя из мирового *пространства*, не двигаться в нем. Но невозможно было исключить себя из *времени*» (2).

«Книжечка в коричневом твердом переплете» с позолоченной надписью «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография» становится для ее героя мощным орудием, служащим не только мифологизации и канонизации собственного образа, но и «покорению» всего мироустройства. Детально выведенная сцена «перелистывания» вождем своей «житийной» биографии открывает в повествовательном пространстве поле конфликтного соприкосновения авторского слова и сознания героя, что соответствует излюбленному у Солженицына принципу «полифонии индивидуальных восприятий» [3. С. 65], который был реализован еще в «Одном дне Ивана Денисовича», где имели место «авторское самоотчуждение и проникновение в другого», «перетекание» сказовой речи повествователя в несобственно-прямую речь и обратно [2. С. 36].

«Медленное чтение» вождем собственной биографии искусно сопровождается «скобочными» авторскими комментариями, в которых «эхо» сталинского голоса исподволь переводится в гротесковую реальность самообожествления и мифологизации истории: «Да, да, так и было... Да, народу повезло... Без ложной скромности — все это правда... Скромность — это очень верно».

Авторская речь постепенно перетекает в русло сталинских размышлений и оценок. По мере прогрессирования старческого недомогания несостоявшимся священнослужителем все острее ощущается необходимость не просто «положить себе дожить до девяноста», но и уже во время земной жизни прорваться в сверхчеловеческое измерение: «Как можно больше портретов, как можно больше упоминаний — а самому появляться редко и говорить мало, как будто ты не все время с ними на земле, а бываешь еще где-то». Вождизм вырисовывается в этих устремлениях как особая религиозная, псевдожертвенная миссия. Обратной стороной отчеканенной в золоте биографии становятся накопившаяся усталость и тайная обида от того, «как ему в жизни не везло и как несправедливо много препятствий и врагов породила перед ним судьба», от «угасания интересов», когда даже в «замечательном юбилее» и подарках, во множестве выставленных в Музее революции, «полноты торжества не было» и «настигла та же безучастность». В собственной «миссии» вождем усматривается и личное проклятие, поскольку «и рок, и казнь его тоже была — думать... Еще два десятилетия, подобно арестанту с двадцатилетним сроком, он должен был жить». В то же время «сверхчеловеческий» взгляд на историю, который питался «необходимостью» «поправлять слишком опрометчивого поверхностного Ленина», без сожаления отсекает приближенных («Разве это вообще люди?», «Разве это человек?»), давать оценку всему народу, который «никуда не годился», — побуждает его «жертвовать» своим

человеческим Я, конструировать собственный «надмирный» образ и в искаженном свете «возвращать» народу подорванное революцией религиозное сознание: «Этот народ нельзя держать в неуверенности. Революция оставила его сиротой и безбожником, а это опасно».

Следующая глава представляет эпически панорамный рассказ о жизненном пути будущего вождя: незаконнорожденного грузинского мальчика — юноши-семинариста — участника революционного движения и одновременно агента секретной полиции — соратника и продолжателя дела Ленина... Развертывание истории жизни сопровождается тайными раздумьями, наблюдениями и обобщениями центрального героя, вследствие чего биографическое повествование обретает онтологический смысл. Эпическая повествовательная стратегия соединяется здесь с исполненной глубокого трагизма драматургической ситуацией «один на сцене».

«Нервом» сталинской биографии выступает его религиозное мироощущение, сердцевину которого еще с юных лет составляло все более осознанное соперничество с Богом и противление Ему: «А Бог обманул... Время уходило... Как все против этого славного юноши... Революция — тоже обманула... Потерял семинарию, потерял верный путь жизни...» Коллизии азартных метаний между революцией и Охранкой («третью ставку своей молодости он поставил на секретную полицию»), надолго укоренившие комплекс страха перед возможным разоблачением и вынудившие «еще целую жизнь коситься и оглядываться», подготавливали в нем вызревание собственной, во многом альтернативной ленинскому окружению концепции Революции — в качестве не просто политической цели, но грандиозного «человекобожеского» проекта.

Сквозь призму жестко прагматичных сталинских мышления и речи пропущены перипетии его мировоззренческого противостояния «авантюристу» Ленину, «книжному фантазеру» Троцкому, который роковым для себя образом «на профсоюзной дискуссии — набелибердил, нагозил, Ленина разозлил»... Устранение «оппозиции», «чистка» «смутьянских мест» вроде Ленинграда, готовность «убирать» даже прежних соратников и «старательных помощников» — все это диктовалось «сверхчеловеческой» историософией вождя, основанной на иллюзии досконального понимания «базиса» человеческого поведения («Он там их понимал, где они соединяются с землей, где *базис*») и столь же совершенного, как казалось, проникновения в механизмы движения «жерновов истории», «подчинившихся», как ему виделось, его «человекобожеской» воле. Поэтому, имея вид «суровый, простой, солдатский» и думая о том, чтобы «быть постоянно — горным орлом», он «даже к приближенному... выходил как перед историей».

На фоне казавшейся незыблемой картины мира настоящей трагедией обернулись в восприятии вождя предательство Гитлера, заставившее его на мгновение изменить своему «сверхчеловечеству» («И губы перед микрофоном дрогнули, сорвались “братья и сестры”, теперь из истории не вытравишь»), и «бунт» Тито, с его «другим вариантом социализма» и «мыльными пузырями первых лет революции». В мысленном сражении с «двойником» Иосифом происходит гротескное раздвоение образа вождя. Сталин, который «как сказочный богатырь... отсекал все новые и новые вырастающие головы гидры», неожиданно — посредством

пластики жестового и речевого поведения — выведен в состоянии нервного бессилия перед так и не построенным коммунизмом, перед «этим кретином Тито», который «заявляет, што-камунизм надо строить нэ так!!!»: «Тут Сталин заметил, что он говорит вслух, рубит рукой, что сердце его ожесточенно бьется, застлало глаза, во все члены вступило неприятное желание подергиваться».

Началом 21-й главы ознаменовано переключение психологического напряжения, которое было порождено коллизиями развернувшейся перед этим «монодрамы». В предварение сцены приема Сталиным Абакумова автор вводит в повествовательное пространство опыт многих приближенных вождя, раскрывает уже вошедшие в «обыденность» перипетии «взрывоопасного» общения с ним — в неустанном предоощущении «единственной в жизни ошибки со взрывателем, которую исправить нельзя». Его «всевидящим» оком обозревается биография бывшего «смершевца» Абакумова, который в войну «грабил загипнотизированно» немецкие трофеи, что стало впоследствии «источником постоянного страха разоблачения».

Истории формирования у центрального героя чувства своего всеведения и неограниченного могущества посвящен психологически емкий авторский экскурс, где запечатлено перерождение молодого Кобы в Вождя, осознавшего себя в этом качестве под влиянием того, что «после какого-то по счету продырявленного затылка люди стали видеть в самых небольших движениях Вождя — намек, предупреждение, угрозу, приказ».

Иллюзия всеведения вождя, которая внушается его многозначительной речью, молчанием, жестами, наполненными «угрожающим внутренним смыслом», игровой «легкостью» разговора о возможном расстреле Абакумова, о том, что вскоре «Йи-вропу начнем сажать», развенчивается ходом затаенных размышлений и прозрений министра МГБ («он весь был в руках Вождя, но отчасти — и Вождь в его руках»), которые развиваются в авторском комментарии о парадоксах вождистского строя: «... в каком-то искаженно-ироническом смысле Сталин сам был подчиненным Абакумова. Только вряд ли бы успел Абакумов эту власть проявить первый». «Искаженно-иронические» гримасы вождизма и подпавшего под его власть исторического процесса прорисовываются и в участвовавших сталинских провалах в памяти, забывшего, «о чем надо спросить Абакумова», и в радикальных ментальных трансформациях прежнего служителя революции, испытавшего в Музее революции приступ ужаса перед портретами Желябова и Перовской, чьи «лица были открыты, бесстрашны, их взгляды неукротимы и каждого входящего звали: “Убей тирана!”» Неотвязным бичом Хозяина становится и мука собственного «сверхчеловеческого» недоверия окружающему миру. В разговор с Абакумовым вторгается сталинская несобственно-прямая речь, звучит облеченная в рвущиеся синтаксические периоды его исповедь перед собой о всеобъемлющей, доходящей до вызова Высшим силам, подчинившей всю жизнь деструктивной инерции недоверия: «Но о чем он думал... Даже это не мысль была, а движение чувства: насколько этому человеку можно сегодня доверять? И второе движение: не наступил ли уже момент, когда этим человеком надо пожертвовать?.. Он не доверял своей матери. И Богу. И революционерам. И мужикам... И рабочим... Не доверял солдатам и генералам... И доверился он одному только человеку... Чело-

век этот был — Адольф Гитлер... Тем более теперь он окончательно не верил никому!»

Две заключительные «сталинские» главы вновь возвращают к ситуации «один на сцене», изображают Властителя наедине с собой, передают то, как «внутренняя музыка нарастала в нем», выражаясь в несобственно-прямой речи, в спорах с Богом, с давно ушедшими в небытие оппонентами с книжных полок.

В попытках овладеть тайной исторического времени Сталин выстраивает антропоцентрическую парадигму истории и полагает, что своей «сверхчеловеческой» волей он вывел коммунизм из-под действия ставшей теперь опасной революционной стихии («кончать надо все эти разговорчики о революциях!»), превратил его в богосоперническую, имперскую форму устройства земной гармонии. Сокрушая воображаемых политических противников, из последних сил, с ощущением того, как «с годами все труднее останавливаться в перечислениях», вождь стремится превозмочь тупики марксистского понимания языка и действительности, пишет свой «труд» по языкознанию и моделирует — на грани эмпирической и сновидческой реальности — «путь к мировому коммунизму». Будущий коммунизм как результат «объединения всего мира», прикрываясь мнимой «реставрацией» старых имперских символов и «возвращением» к корням, одержит, по его убеждению, победу над «объективной реальностью», которая теперь «корчилась в мировом тумане».

Сталинское конструирование вождистской модели Вселенной обретает религиозный смысл и упирается в мучительный для него «неясный вопрос» об отношениях с Богом: «Ну, а... — выше? Равных ему, конечно, нет, ну если там, над облаками, выше глаза поднимешь — а там?..» На скрещении авторского повествования и воспоминаний героя складывается картина его запутанной религиозной жизни. Еще в разгар революционных лет «Ленин на крест плевал, топтал, Бухарин, Троцкий высмеивали — Сталин помалкивал»; позднее, в тяжелые месяцы наступившей войны, «на коленях стоял, молился... в пустой угол», дал и выполнил обет о восстановлении Церкви в России — и вместе с тем на последней глубине, измеряя бытие степенью могущества земной власти, он не ощущал Божественного присутствия в собственной жизни и истории: «Только вряд ли Он все-таки есть. Таковую власть иметь — и все терпеть? И ни разу в земные дела не вмешаться — ну, как это возможно?.. Вот обойдя это спасение сорок первого года, никогда Сталин не замечал, чтоб кроме него кто-нибудь еще распоряжался. Ни разу локтем не толкнул, ни разу не прикоснулся».

Трагическое, до конца не осознанное главным героем, но отрефлектированное в авторском слове переживание тоски богооставленности, которая, по Солженицыну, пронизывает антропоцентрическую «религию» Нового времени, предопределяет в финале «сталинских» глав романа сгущение фона личностного и экзистенциального одиночества вождя. «Уж, кажется, все было сделано для бессмертия», а между тем все настойчивее «Сталину казалось, что современники... в своих восторгах поверхностны и не оценили всей глубины его гениальности»; все мучительнее становилось переживание «старости без любви», «старости без веры», «старости без желаний», «ощущение перешибленной памяти, меркнувшего разума», чувство того, как «невидимый внутренний оркестр, под который он

шагал, разладился и замолк в нем». Самоутверждение «человекобога» оборачивается его вселенским одиночеством «за непробиваемыми стеклами», где «некем было ему себя проверить», где не существовало «никакой живой России».

«Сталинские» главы заключают средоточие историософской проблематики романа, вокруг которой развернутся споры его центральных персонажей. Здесь достигается полифония различных повествовательных форм: динамичная драматургия эпизода, острого, стихийно развивающегося, имеющего мощный подтекстный фон диалога сочетается с опоясывающей эти главы ситуацией «один на сцене», в полноте передающей парадоксы как внутренней жизни вождя, так и исторического времени. Автобиографическая и историософская рефлексия центрального героя предстает в сложном концептуальном и стилевом взаимодействии с голосами различных эпох, а также с авторским словом, исследующим и опровергающим сталинскую человекобожескую религию.

ПРИМЕЧАНИЯ

- (1) Текст романа «В круге первом» приводится по изд.: Солженицын А. В круге первом: роман. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014.
- (2) Здесь и далее курсив в цитатах принадлежит А.И. Солженицыну.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Голубков М.М.* Александр Солженицын. М.: МГУ. 1999. 112 с.
- [2] *Спиваковский П.Е.* Феномен А.И. Солженицына: новый взгляд. М.: ИНИОН РАН, 1998. 135 с.
- [3] *Спиваковский П.Е.* Академик Александр Исаевич Солженицын (к 85-летию со дня рождения) // Известия АН. Серия литературы и языка. 2003. Т. 62. № 6. С. 62—67.

STALIN'S CHAPTERS AND NARRATIVE SIGNIFICANCE IN SOLZHENITSYN'S "THE FIRST CIRCLE"

I.B. Nichiporov

Lomonosov Moscow State University
Vorobyevy Gory, 1(51), Moscow, Russia, 119991

Attention in this essay has been paid to the significance of Stalin's representation in Solzhenitsyn's "The First Circle" (1955—1968, chapters 19—23). The article brings together author's words and leader's and character's voices, explores a number of themes centered on Stalin's apperception his own personality and historical process. This essay investigates the main place of Stalin's chapters in the novel structure and the composition of the chapters about Stalin. Historical problematics is the main point in characters' disputes. The essay achieves "polyphony" in various narrative forms from dramatic episodes with inner dialogues to the situation "alone on the stage". That shows paradox of leader's inherent life and historical time and place.

Key words: Solzhenitsyn, Stalin, polyphony, literary composition and reception, artistic historical conception

REFERENCES

- [1] Golubkov M.M. *Aleksandr Solzhenicyn* [Alexander Solzhenitsyn]. M.: MGU, 1999. 112 p.
- [2] Spivakovskij P.E. *Fenomen A.I. Solzhenicyna: novyj vzgljad* [Phenomenon of A.I. Solzhenitsyn: new surway]. M.: INION RAN, 1998. 135 p.
- [3] Spivakovskij P.E. Akademik Aleksandr Isaevich Solzhenicyn (k 85-letiju so dnja rozhdenija) [Academician A. Solzhenitsyn (to the 85-th anniversary) // *Izvestija AN. Serija literatury i jazyka* [Proceedings of Academy of Sciences. Literature and languages]. 2003. V. 62. № 6. Pp. 62—67.